

А. С.
ПУШКИН
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ



8Р1(092)

П 91
1911

А. С.
ПУШКИН
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННОКОВ
В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ
ВТОРОЙ

901563

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. Н. П. КУЗЬМИНА

МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1974



ВОСПОМИНАНИЯ О ПУШКИНЕ

Крылов был в Оренбурге младенцем; Скобелев чуть ли не стайвал в нем на часах; у Карамзиных есть в Оренбургской губернии родовое поместье. Пушкин пробыл в Оренбурге несколько дней в 1833 году, когда писал Пугача¹, а Жуковский — в 1837 году, провожая государя цесаревича.

Пушкин прибыл неожиданный и нечаянный и остановился в загородном доме у военного губернатора В. Ал. Перовского², а на другой день перевез я его оттуда, ездил с ним в историческую Бердинскую станицу³, толковал, сколько слышал и знал местность, обстоятельства осады Оренбурга Пугачевым; указывал на Георгиевскую колокольню в предместьи, куда Пугач поднял было пушку, чтобы обстреливать город, — на остатки земляных работ между Орских и Сакмарских ворот, приписываемых преданием Пугачеву, на зауральскую рощу, откуда вор пытался ворваться по льду в крепость, открытую с этой стороны; говорил о незадолго умершем здесь священнике, которого отец высек за то, что мальчик бегал на улицу собирать пятаки, коими Пугач сделал несколько выстрелов в город вместо картечи, — о так называемом секретаре Пугачева Сычугове, в то время еще живом, и о бердинских старухах, которые помнят еще «золотые» палаты Пугача, то есть обитую медною латунию избу.

Пушкин слушал все это — извините, если не умею иначе выразиться, — с большим жаром и хохотал от души следующему анекдоту: Пугач, ворвавшись в Берды, где испуганный народ собрался в церкви и на паперти, вошел также в церковь. Народ расступился в страхе, кланялся, падал ниц. Приняв важный вид, Пугач прошел

прямо в алтарь, сел на церковный престол и сказал вслух: «Как я давно не сидел на престоле!» В мужицком невежестве своем он воображал, что престол церковный есть царское седалище. Пушкин назвал его за это свиньей и много хохотал...

Мы поехали в Берды, бывшую столицу Пугачева, который сидел там — как мы сейчас видели — на престоле. Я взял с собою ружье, и с нами было еще человека два охотников. Пора была рабочая, казаков ни души не было дома; но мы отыскивали старуху, которая знала, видела и помнила Пугача. Пушкин разговаривал с нею целое утро; ему указали, где стояла изба, обращенная в золотой дворец, где разбойник казнил несколько верных долгу своему сынов отечества; указали на гребни, где, по преданию, лежит огромный клад Пугача, зашитый в рубаху, засыпанный землей и покрытый трупом человеческим, чтобы отвести всякое подозрение и обмануть кладоискателей, которые, дорывшись до трупа, должны подумать, что это — простая могила. Старуха спела также несколько песен, относившихся к тому же предмету, и Пушкин дал ей на прощанье червонец⁴.

Мы уехали в город, но червонец наделал большую суматоху. Бабы и старики не могли понять, на что было чужому, приезжему человеку расспрашивать с таким жаром о разбойнике и самозванце, с именем которого было связано в том краю столько страшных воспоминаний, но еще менее постигали они, за что было отдать червонец. Дело показалось им подозрительным: чтобы-де после не отвечать за такие разговоры, чтобы опять не дожить до какого греха да напасти. И казаки на другой же день снарядили подводу в Оренбург, привезли и старуху, и роковой червонец и донесли: «Вчера-де приезжал какой-то чужой господин, приметам: собой невелик, волос черный, кудрявый, лицом смуглый, и подбивал под «пугачевщину» и дарил золотом; должен быть антихрист, потому что вместо ногтей на пальцах когти» *. Пушкин много тому смеялся⁵.

До приезда Пушкина в Оренбург я виделся с ним всего только два или три; это было именно в 1832 году, когда я, по окончании турецкого и польского походов, приехал в столицу и напечатал первые опыты свои. Пушкин,

* Пушкин послал ногти необыкновенной длины: это была причуда его.

по обыкновению своему, засыпал меня множеством отрывчатых замечаний, которые все шли к делу, показывали глубокое чувство истины и выражали то, что, казалось, у всякого из нас на уме вертится и только что с языка не срывается. «Сказка сказкой, — говорил он, — а язык наш сам по себе, и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. А как это сделать, — надо бы сделать, чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке... Да нет, трудно, нельзя еще! А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! А не дается в руки, нет!»⁶

По пути в Берды Пушкин рассказывал мне, чем он занят теперь, что еще намерен и надеется сделать. Он усердно убеждал меня написать роман и — я передаю слова его, в его память, забывая в это время, к кому они относятся, — и повторял: «Я на вашем месте сейчас бы написал роман, сейчас; вы не поверите, как мне хочется написать роман, но нет, не могу: у меня начато их три, — начну прекрасно, а там недостает терпения, не слажу». Слова эти вполне согласуются с пылким духом поэта и думным, творческим долготерпением художника; эти два редкие качества соединялись в Пушкине, как две крайности, два полюса, которые дополняют друг друга и составляют одно целое. Он носился во сне и наяву целые годы с каким-нибудь созданием, и когда оно созревало в нем, являлось перед духом его уже созданным вполне, то изливалось пламенным потоком в слова и речь: металл мгновенно стынет в воздухе, и создание готово. Пушкин потом воспламенился в полном смысле слова, коснувшись Петра Великого, и говорил, что непременно, кроме деесписания об нем, создаст и художественное в память его произведение: «Я еще не мог доселе постичь и обнять вдруг умом этого исполина: он слишком огромен для нас, близоруких, и мы стоим еще к нему близко, — надо отодвинуться на два века, — но постигаю это чувством; чем более его изучаю, тем более изумление и подобострастие лишают меня средств мыслить и судить свободно. Не надобно торопиться; надобно освоиться с предметом и постоянно им заниматься; время это исправит. Но я сделаю из этого золота что-нибудь⁷. О, вы увидите: я еще много сделаю! Ведь даром что товарищи мои все поседели да оплешивели, а только что перебесился; вы не знали меня в молодости, каков я был; я не так жил, как жить бы должно; бурный небосклон позади меня, как оглянусь я...»

Последние слова свежо отдаются в памяти моей, почти в ушах, хотя этому прошло уже семь лет. Слышав много о Пушкине, я никогда и нигде не слышал, как он думает о себе и о молодости своей, оправдывает ли себя во всем, доволен ли собою или нет; а теперь услышал я это от него самого, видел перед собою не только поэта, но и человека. Перелом в жизни нашей, когда мы, проспав несколько лет детьми в личинке, сбрасываем с себя кожуру и выходим на свет вновь родившимся, полным творением, делаемся из детей людьми, — перелом этот не всегда обходится без насилий и не всякому становится дешево. В человеке будничном перемена не велика; чем более необыкновенного готовится в юноше, чем он более из ряду вон, тем сильнее порывы закованной в железные путы души.

Мне достался от вдовы Пушкина дорогой подарок: перстень его с изумрудом, который он всегда носил последнее время и называл — не знаю почему — талисманом; досталась от В. А. Жуковского последняя одежда Пушкина, после которой одели его, только чтобы положить в гроб. Это черный сюртук с небольшою, в ноготок, дырочкою против правого паха. Над этим можно призадуматься. Сюртук этот должно бы сберечь и для потомства; не знаю еще, как это сделать; в частных руках он легко может затеряться, а у нас некуда отдать подобную вещь на вседневное сохранение * 8.

Пушкин, я думаю, был иногда и в некоторых отношениях суеверен; он говаривал о приметах, которые никогда его не обманывали, и, угадывая глубоким чувством какую-то таинственную, непостижимую для ума связь между разнородными предметами и явлениями, в коих, по-видимому, нет ничего общего, уважал тысячелетнее предание народа, доискивался в нем смыслу, будучи убежден, что смысл в нем есть и быть должен, если не всегда легко его разгадать. Всем близким к нему известно странное происшествие, которое спасло его от неминуемой большой беды. Пушкин жил в 1825 году в псковской деревне, и ему запрещено было из нее выезжать. Вдруг доходят до него темные и несвязные слухи о кончине императора, потом об отречении от престола цесаревича; подобные события проникают молнией сердца каждого, и мудрено ли, что в смятении и волнении чувств участие и любопытство де-

* Я подарил его М. П. Погодину.

ревенского жителя неподалеку от столицы возросло до неодолимой степени? Пушкин хотел узнать положительно, сколько правды в носящихся разнородных слухах, что делается у нас и что будет; он вдруг решился выехать тайно из деревни, рассчитав время так, чтобы прибыть в Петербург поздно вечером и потом через сутки же возвратиться. Поехали; на самых выездах была уже не помню какая-то дурная примета, замеченная дядькою, который исполнял приказание барина своего на этот раз очень неохотно. Отъехав немного от села, Пушкин стал уже раскаиваться в предприятии этом, но ему совестно было от него отказаться, казалось малодушным. Вдруг дядька указывает с отчаянным возгласом на зайца, который перебежал впереди коляски дорогу; Пушкин с большим удовольствием уступил убедительным просьбам дядьки, сказав, что, кроме того, позабыл что-то нужное дома, и воротился. На другой день никто уже не говорил о поездке в Питер, и все осталось по-старому⁹. А если бы Пушкин не послушался на этот раз зайца, то приехал бы в столицу поздно вечером 13 декабря и остановился бы у одного из товарищей своих по Лицею, который кончил жалкое и бедственное поприще свое на другой же день... Прошу сообразить все обстоятельства эти и найти средства и доводы, которые бы могли оправдать Пушкина впоследствии, по крайней мере, от слишком естественного обвинения, что он приехал не без цели и знал о преступных замыслах своего товарища.

Пусть бы всякий сносил в складчину все, что знает не только о Пушкине, но и о других замечательных мужах наших. У нас все родное теряется в молве и памяти, и внуки наши должны будут искать назидания в жизнеописаниях людей не русских, к своим же поневоле охладуют, потому что ознакомиться с ними не могут; свои будут для них чужими, а чужие сделаются близкими. Хорошо ли это?

Много алмазных искр Пушкина рассыпались тут и там в потемках; иные уже угасли и едва ли не навсегда; много подробностей жизни его известно на разных концах России: их надо бы снести в одно место. А. П. Брюллов сказал мне однажды, говоря о Пушкине: «Читая Пушкина, кажется, видишь, как он жжет молнией выжигу из обносков: в один удар тряпье в золу, и блестит чистый слиток золота».